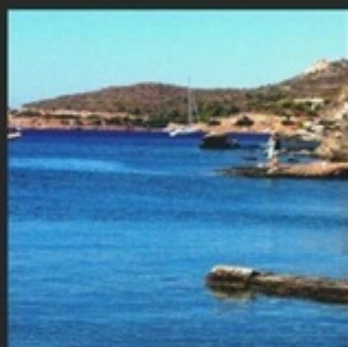


Юлия Милович-Шералиева

Место сердца

культурологический
путеводитель
по чувствам



Юлия Милович-Шералиева

Место сердца

«Издательские решения»

Милович-Шералиева Ю.

Место сердца / Ю. Милович-Шералиева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-834311-7

Эта книга — культурологический путеводитель по чувствам. Культурология отвечает на вопросы «откуда», «почему» и «как». Стремясь разобраться в явлении, поведении человека, событии, факте, объясняя его, оправдывает. Помогает понять. А чем больше понимания, тем больше любви. Так что культурология — это тоже про любовь. Или про место сердца. Где и когда бы оно ни находилось. Книга издана при поддержке Союза российских писателей на грант Министерства культуры РФ.

ISBN 978-5-44-834311-7

© Милович-Шералиева Ю.
© Издательские решения

Содержание

Отзывы	6
Предисловие	7
Венеция	8
Вертикальная страна	15
Белград	18
Херцег-Нови	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Место сердца

Юлия Милович-Шералиева

© Юлия Милович-Шералиева, 2016

© Алиса Нешина, дизайн обложки, 2016

ISBN 978-5-4483-4311-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОТЗЫВЫ

Евгений Додолев – журналист, телеведущий, писатель:

«Волшебство сочинений Юлии Милович-Шералиевой в их поэтичности: ловишь себя на готовности споткнуться о рифму какую-нибудь. Всё время. Ритм и темп изложения подразумевают известную долю романтизма даже тогда, когда речь идёт о вещах – условно говоря – бытовых. Ясности мысли не мешают ни метафоры, ни гиперболы: нет необходимости перечитывать абзац с начала – все доходчиво, но при этом красиво. Обычно такого рода стилистика присуща мужскому письму, скажу без риска быть обвинённым в сексизме; но, даже не зная автора, понимаешь, что это написала женщина-женщина. И поэтому есть интрига.»

Александр Иличевский – поэт и писатель, лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга»:

Проза Юлии Милович-Шералиевой – идеальная звуковая дорожка путешественника, извлекаемая не только подошвами. Путешественник входит в древние города, петляет в узких улочках, выходит на пустыри или на стены города, откуда видит долину, ограниченную излучиной, и он неслышимо поет – ораторию реки. Идеальный путешественник повторяет то, что слышит его сетчатка, он перестраивает себя в небольшой орган, в октавы которого вложены и горы, и равнины, и скалистое подножье Иерусалима, передвижение по которому напоминает разворот самолета перед ночной посадкой. Идеальный путешественник – прорицатель и собиратель пространства, поэтическая пчела, чьи качества поставляют нам с пчелиным упорством и кропотливостью – сгущенное пространство-время. Таков идеальный травелог, и Юлия движется по нему, с сознанием дела и успеха.

Предисловие

Место сердца – это такая точка, к которой вас тянет. Это может быть человек, место в пространстве или отрезок времени, когда вам было хорошо. Учитывая то, что это не в города мы возвращаемся, а к тем, кто там остался и к нам самим, которые когда-то там были, пространство и время, по сути, уравниваются, нивелируя друг друга. Поэтому главным фактором по распознаванию «места сердца» остается одно лишь чувство. Буквально – то, при воспоминании о чем вам делается хорошо. Вы становитесь «счастливы», такими, «какими вас задумал Бог», и так далее. Что это такое – по-настоящему никто не знает. Зато – уверена – все чувствуют. Если уж сразу с места в карьер – то я говорю о любви. Которая в моем понимании есть искреннее и благодарное принятие всего, что с нами случается, встречается и происходит. Чем или кем бы это ни проявлялось. И здесь мы тоже ничего не «знаем», а только чувствуем.

«Знают» – культурологи, потому что это – область науки. Я – культуролог. Культурология отвечает на вопросы «откуда», «почему» и «как». То есть, стремясь разобраться в явлении, поведении человека, событии, факте, объясняя его, оправдывает. Отменяя осуждение, высвобождает понимание. А чем больше понимания, тем больше любви. Так что культурология – это тоже про любовь. Или про «место сердца». В каком бы пространстве и времени это ни находилось.

Что делает нас счастливыми? Путешествие в новые земли. Память о времени, которое давно прошло, тогда как чувство к людям и вещи, которые остались от них, еще сохранились.

Эта книга – культурологический путеводитель. По чувствам. И она по смыслу незримо, но все же разделена на две части: в первой я рассказала о своих путешествиях в некоторые страны и города и обо всем, что там со мной приключилось. Во второй я описала истории своего детства, людей и вещей, о которых я не забыла.

В каждой из этих точек – на карте или в календаре – мое сердце. Может быть, ваше тоже.

Венеция

... В путешествии ты отрываешься от корней. От места. Не зависишь от привязок, к которым привык, освобожден от условностей, признаков места, в котором родился или живешь. В этом и почти буддистский принцип избавления от привязанностей – такой близкий христианскому упованию. Нет ничего позади, ничего впереди – полностью отдаешься в руки Пути. Пусть ведет, как ведет, думаешь. Ничего нет вокруг, будто выжженная земля по сторонам и островков жизни есть только там, в то время и в том месте, где ты сейчас. Ты не знаешь, как и что будет – просто отдаешься этому естественному течению жизни, заранее веришь ему, априори, вверяешь себя. Потому и двигаешься, и ведешь себя, и ощущаешь все настолько остро, насколько это только возможно. Люди в других странах и городах смелее, отчаяннее, отзывчивей – потому что все по максимуму, все настоящее и все важно. В путешествии, в дороге понимаешь бессмысленность второстепенного: комфорта, условий, стоимости и качества жизни. Понимаешь важность присутствия друга рядом, значимость встречи с «твоим» человеком, возможности это переживать. В путешествии время и пространство сжимаются, выдавая концентрат, экстракт, многократно усиленный вариант пребывания в этом мире. Обо всем думаешь: «Все это – для меня».

... Мы жили в городе Чивидале – этот город когда-то был столицей лангобардов, и до сих пор среди его жителей можно встретить рыжеватых потомков северных завоевателей. Я вообще думаю, в этом спасение генофонда крошечных городков – в смешении кровей в результате завоеваний. Иначе быть бы таким городам прибежищами повторяющихся геномов... Одних и тех же лиц, фамилий и болезней.

Мы жили с подругой в учебном пансионате – сначала бывшем бенедиктинском монастыре (XIII век!), потом бывших казармах армии Наполеона (XIX век), а затем – бывшем университете (начало XX века). Жили-поживали, пили местный токай.

Всю округу мы давно изучили. Пора было братья за окрестности.

Мы взяли карту, показывающую соседние местечки, а среди них – Кастельмонте, милейший городок на самой границе Словении.

Из Чивидале в этот город в октябре следуют машины, управляемые охваченными гоночным безумием спортсменами. Маршрут выбран упоительный – как говорил ефрейтор в кинофильме «А зори здесь тихие»: «Есть на что приятно поглядеть».

В Кастельмонте ежегодно приходят паломники – и весь год и в сентябрьские дни чествования Мадонны. Идут, оставляя следы в маленьких домиках по дороге: на протяжении всего пути, неуклонно ведущего в гору, мир украшают крытые места остановок, по числу страданий Христа.

Множество самодельных крестиков (камень, ножницы, бумага – подручный материал) да свечи – вот и все наполнение. В основном все делают кресты из прутиков – кругом полно деревьев, да и хранятся они дольше цветочных. Один раз мне попался камень – булыжник, по форме – точно францисканский крест тау. У меня и сейчас на левой руке такой.

Поднимешься на гору – весь итальянский северо-восток нежит зрение диковинным блюдом. В монастыре никого – изредка прошагает мимо капучин, заглянет в глаза, пройдет дальше. На горе – огромный крест, мгновенно отсылающий к статуе Христа Корковадо в Рио.

В Кастельмонте съезжаются за исполнением желаний. Те, у кого сбылось, приезжают снова – и заполняют изображениями исполнившейся мечты стены, подвал, пол. Мечты – какие они? Не «ягуары» да Багамы и не «Господи, пошли мне новый айфон».

Гобелен с парнем, отлетевшим в сторону от авто, – просьба об исцелении попавшего в аварию сына. Холст, демонстрирующий поднявшегося с постели деда. Фотография счастливой беременной женщины – результат молитв о ребенке.

Кстати, о детях. Я пошла туда – 9 километров по вертикали, и ни одна машина не подбросит, только назад – не принято – ради беременной в тот момент сестры.

Мне хотелось, чтобы все у нее было хорошо.

У нее все и было, и есть хорошо. Так что я теперь – тоже должница. Мне еще предстоит собраться и поднести свое тело туда, наверх, на самую границу – Италии и Словении, горы и неба, меня и Бога. Когда соберусь?.. Вообще-то, пора. Сестра ждет четвертого.

Я купила в тот раз маленький медальон – изображение той самой Черной Мадонны. Это ее статуя украшает собой сводчатый зал в монастыре. Тот зал, где беспрерывно горят свечи, а стен не видно за прорвой картин. Медальонов я тогда купила несколько – один сестре, другим расплатилась при спуске с горы на машине, а третий взяла себе.

Он был со мной и когда я приехала в Черногорию, беременная и чужая.

Я потом много раз удивительно часто роняла, теряла, случайно срывала Мадонну с шеи. Сменила цепочку – четырежды. Каждый раз находила свою Черную Мадонну – в сенях дома, на пороге его, этажом ниже, у автобусной остановки, в ванной, в цветочном горшке. Я все думала – неужели это из-за того, что я никак туда не доеду?..

Но однажды я ее все-таки потеряла. И лежит Мадонна посреди Черных гор, попираемая, вероятно, ступнями, разве только ее не нашел кто-нибудь и теряет, теряет, как я.

Главное, чтобы моя просьба исполнилась – и не только у моей сестры, а и у меня, и чтобы и мне еще предстояло двинуться в путь – чтобы просто сказать «спасибо».

Я пока туда так и не поехала. Вместо этого мы отправились в Венецию.

Прежде чем я ее увидела, она представлялась мне именно такой – вне зависимости от времени суток, ночной, закрытой для посторонних. Масочной, театральной, тяжелой, с красками, звуками и фактурой Средневековья. Все здесь всегда темное, древесных, усталых, сумрачных, неизменно прекрасных тонов.

Бредя по городу, бесконечно напираться на вновь и вновь повторяющиеся улицы, которые и улицами-то не назовешь – так они узки, декоративны, ненастоящи. Словно коридоры искусственных игрушечных домиков из лавки древностей. Здесь становится совсем понятно – как задуман был город быть выстроенным наперекор природе, вопреки, дабы стать потом величайшим экспериментом, так и остался призраком, головоломкой, игрой. Архитектурной тайной, градостроительным гомункулусом.

Главное лицо Венеции – венецианец – кажется холодным в своей высокомерной жесточности. Венеции идет этот тип молодежи, холодной, острой на язык, стильной, с невероятными прическами, одеждой, кожей, обувью. Так, среди собачьих пород выделяются доберманы – жестокие, красивые, с одним-единственным аксессуаром, стоимостью и значением перекрывающим весь остальной вид. А этот волнующий тип мужчин со смуглым от яркого солнца и мутной венецианской лагуны загаром? Оливковая кожа и глубокий темно-синий цвет ткани. Боже.

Италия прекрасна, но разнородна. Не только все двадцать ее регионов – как отдельные планеты, живущие по своим законам, но и некоторые крупные древние города, каждый из которых существует в каких-то своих реалиях, зачастую неподвластных привычной логике остальных. Венеция – островное государство в государстве, где изнуренные восторгами путников со всего мира местные жители едва справляются с сакральной красотой того, что для них – повседневность и будни.

Наибольшие циники – хирурги. Потому что они имеют ежедневный доступ к сакральному. Более того, они способны влиять на его судьбу. При этом, в отличие, например, от пожарных, они напрямую не рискуют своей жизнью. Что это значит? Когда это столкновение с сакральным происходит впервые, любой человек оказывается потрясен. И за счет этого потрясения он гармонизирует ужас от соприкосновения со смертью или с чем-то вечным, неподвластным человеческому влиянию. Когда же это происходит ежедневно, то для того,

чтобы самому столкнувшему оставаться в добром здравии и ясном уме, необходимо от этого столкновения с великим незримым отстраниться. В этом – его спасение. Лучший способ отстраниться и спастись – цинизм или безразличие. Хладнокровие и снобизм. Вот и венецианцы, сталкиваясь ежедневно со смертельным совершенством своего города, утомленные регулярными туристическими междометиями, остаются холодными с окружающим миром, как вода в их лагуне.

Мусор в пакетах свисает вдоль домов, наверху на веревках, перетянутых из окна в окно, сушатся вещи; острые пики под каждым окном – чтобы голуби не садились и не пачкали подоконники. Жестоко. По-венециански. Все ради красоты. Эстетика – всего превыше. Совершенство – смерть, именно поэтому смерть и Венеция так ужасающе прекрасны и веками идут вровень. Сальве, Тадзио!

Дома, выкрашенные в мрачные цвета, не всегда были такими. Лагуна подарила им печать печали по прошлому. Оттенка скорби по порокам, цвета плача, темной, Бог весть что скрывающей воды, людских стонов, казней, судебных, страхов и страстей. В Венецию пускают, будто в музей на ночь раз в год, – этих дурацких, глупых посетителей – хорошо, мы приберем немного декорации, накинем муслина здесь, бархата там. Вот-вот из-за угла мелькнут фигуры из папьемаше, а может, восковые куклы, аппараты из Гофмановских сказок, големы Майринка, старухи Гауфа.

Ночами совершенно негде выпить кофе, колы или вина – все закрыто. Информация редких прохожих противоречива – все время дают разные направления и указывают разные же кафе или клубы, где можно немножко посидеть. В итоге, не найдя ничего, кроме маленького окошечка у моста, недалеко от вокзала, радуешься, как сумасшедший, покупаешь что-нибудь поесть и просишь кофе. А в ответ: «Слишком поздно для эспрессо, сейчас это очень вредно». А еще – ищешь без успеха площадь Сан-Марко, чтобы выпить там бутылку красного вина с друзьями в полночь, но не находишь, и кто-то будто водит тебя кругами до глубокой ночи по городу.

Указатели трудны для использования – когда видишь две стрелки, указывающие в разных направлениях с надписью «San Marco», конечно, теряешься. Как здесь возможно жить?

Напротив площади – залив, выход в открытое море. Страшно ходить по пирсу. Хоть и есть небольшое ограждение, но все сплошь старь и ветхость, не столько по ощущениям, сколько по времени; эта древность досок и гондол внизу пугает хрупкостью и непрочностью. Никуда без волшебника Бродского, то и дело про себя прочтешь: «Мокрая коновязь пристани... / понурая ездая...»

Напротив немым стражем глядит на тебя знаменитый остров Сан-Микеле, на котором тот же Бродский который год спит. Дует ветер, внизу болтаются (болтают друг с другом?) лодки, синие-синие, цвета дна чьей-то души.

...Гуляя с компанией художников, уговоривших поехать на одну ночь в Венецию с северо-востока страны, мы все же нашли и микеланджелевские статуи, и Сан-Марко, и Дворец Дожей, и мост Риальто, и мост Вздохов, и ахи, и эхо.

По случаю я вырядилась в экстравагантный наряд: длинная яркая юбка, узкий топ, огромный цветок за ухом – получила пару комплиментов от прохожих и расцвела вслед за цветком. На площади пьем вино, сидим на стульях закрытого на ночь уличного кафе. Берем эти стулья и втроем прыгаем, что-то показываем, какой-то автобус, стулья в ряд, каждый делает, что хочет, фотограф Митя снимает процесс. Карабинеры подходят – думаем, из-за вина, а нет, интересно, откуда мы, что это снимаем тут. Американец в одних шортах ездит по Сан-Марко на доске, временами показывая какой-нибудь фокус, получая в награду аплодисменты. Кричит «Америка!», воодушевившись. Тут аплодисменты стихают.

Побродив по городу, возвращаемся на Сан-Марко, чтоб немножко поспать, погулять или поспинать. Я накрываюсь одеялом, захваченным ребятами из монастыря, где все мы живем и учимся, сплю ровно час на неудобных стульях.

Внезапно просыпаюсь, на часах – пять с небольшим. Я встаю, с испугом озираюсь, поначалу не найдя ребят, скидываю одеяло, достаю плеер, иду на пирс. Вижу Митю, ставящего штатив – готовится к встрече рассвета. Постояла. Болтаюсь взад-вперед по пирсу и вдруг как закричу:

– Митя!!! Скорей, скорей!

А чего «скорей» – я и сама не успеваю подумать. Я только вижу идущего вдоль наших стульев человека – вот, где мы спали, через мостик.

Честное слово, я подумала, что это – Иисус Христос.

Я не помню, как он двигался, это было, как в замедленной съемке, сродни влюбленности, внезапному откровению, экстазу, счастью. В такой миг пространство и время замирают, сконцентрировав сердцевину мира прямо в области твоего солнечного сплетения. Было очевидно – то, что сейчас происходит, имеет ко мне самое непосредственное отношение.

Так и есть – он внезапно остановился. Господи, какое счастье, он остановился! Я не знала, что делать, требовалось какое-то подтверждение тому, что это вижу не только я и что впоследствии у меня тоже будет этому доказательство. Поэтому я зашипела Мите, чтобы и он обратил на него внимание.

Человек этот так красиво шел, в нем была упоительная простота, удивительная, спокойная, тихая. Бесшумность счастья – верный признак его подлинности. Он был весь словно с картин Караваджо или с любых ренессансных изображений Евангелия. По плечам растекались темные с проседью кудри, на ногах были простые сандалии, а сам он был в двух хабитах – светлом и темном. На груди был францисканский крест тау. Остановившись, он склонился над краником с водой, прямо у пирса, в нескольких метрах от меня. Я двинулась ближе, не имея никаких мыслей о том, что мне следует делать дальше. Он вообще меня видит?

Тщательно умыл лицо, руки, волосы, потом ступни, аккуратно, осторожно, с достоинством, вдруг, без всякого перехода – мне:

– Я закончил, можете теперь и вы.

– Спасибо, мне не нужно.

То есть, конечно, мне нужно умыться – но мне скорее нужно душу умыть, нет, даже вымыть, выскрести – внезапно я понимаю, что это чувство невероятной тяжести, отягощавшей меня в особенности этим утром, как-то связано с приходом этого человека, что он ко мне пришел, что все это не просто случайно увиденная мной интимная утренняя процедура. Я стою и не знаю, что сказать. Со стороны все это выглядело довольно нелепо – пауза становилась все очевидней, вместе с тем появилось ощущение, что теперь и он улавливает между нами что-то особенное.

Поэтому я решила с ним поздороваться. Он ответил и продолжил стоять и смотреть на меня. Улыбнулся. С места не двигается – стоит и ждет. Ну, хорошо! Я осмелела:

– Почему так? – показываю на его босые ступни.

– Потому что Бог.

Я заплакала.

– Давно?

– С 1997 года.

– Значит, уже почти десять лет?

– Девять.

Мы поговорили. Потом я опять расплакалась, попросила его позволить мне его сфотографировать. Так глупо. Но мне хотелось хоть как-нибудь сохранить его для себя. Как можно

прочнее, доказать самой себе – это было, он правда существует и сейчас мы действительно разговариваем.

Он рассмеялся.

– Меня каждый день кто-нибудь постоянно снимает, не спрашивая разрешения. Конечно, я не против, снимай и ты, сколько хочется. Кстати, что это у тебя на руках?

– Хочешь что-нибудь от меня на память?

– Нет, просто интересно. Смотри: на мне ничего, кроме одежды и тау нет. А в моей памяти ты и так останешься. Как тебя зовут?

– Юля.

– А меня Франко.

Франко – значит «свободный».

На руках у меня были фенечки.

Почти весь день мы провели вместе. От него исходила предельная простота, сила и ясность. Доброта тронула каждое его движение, улыбку, слово. Он мог ничего не делать, просто сидеть на скамейке, пока мы беседовали, а вокруг него танцевал от счастья мир. И моя душа вместе с ним.

Разговаривали обо всем. То, что я получила от Франко за несколько часов общения, перевернуло мою жизнь. О подобной встрече я могла только мечтать. Я сидела на скамейке у моря, болтала ногами и сама себе отчаянно завидовала.

Потом он читал надо мной молитвы, попросил умыться, пока умывалась, окропил меня водой, и было что-то в этом процессе, превращавшее умывание в омовение.

Франко шел путями святого Франциска. Конечной целью был, конечно, Ассизи. Шел пешком, изредка соглашаясь на поезд. В маленькой сумочке на поясе звенели деньги, из которых он время от времени извлекал монеты, раздавая нищим. Не наоборот. От Франко шла непередаваемая чистота, он буквально ей лучился. Это было так здорово. Франко слушал меня, отвечал на вопросы. Любой из ответов я помню до сих пор. В трудную минуту я вспоминаю какой-нибудь подходящий ситуации кусок разговора, и не было еще случая, чтобы это мне не помогло.

Все небо в облаках, в полосках алых, в голубях.

За нами давно подглядывали мои друзья. Потом им надоело, да и мне становилось неловко: кто знает, насколько я задерживаю Франко в пути.

Нам пора прощаться. Мы обнимаемся, мы счастливы, нас не разнять – но нужно идти – и нам, и ему, и мы расстаемся.

Он уходит, и тогда я кричу от радости в самое небо, бессильно жестикулируя, так кричит человек освободившийся, освобожденный, как после долгой болезни и жара, ощутивший долгожданную прохладу и возможность парить. Ребята хохочут, обернувшись, я вижу лицо смеющегося, машущего мне на прощанье Франко.

Уже после я узнала о существовании поверья, согласно ему, встреченный тобой человек на рассвете в Венеции останется рядом на всю жизнь.

Митя с пирса сумел нас сфотографировать.

Мы выходим к базилике на Сан-Марко, я все еще отхожу (или не хочу этого вовсе) от встречи с Франко, как вдруг слышу шепот ребят: «Юля! Юля!» Оборачиваюсь и снова вижу его.

Он развел руки в стороны перед самой базиликой, и первые с утра прохожие на площади с удивлением за ним наблюдают. Только что закончилась месса. Франко молится, истово и горячо. Я боюсь ему помешать, осторожно прохожу за его спиной. Внезапно он поворачивается. Мы улыбаемся, обнимаем друг друга, будто давно не виделись. Решаем, что ребята пойдут, поедят, а мы с Франко еще немного пройдемся.

Мы проводим вместе остаток дня, к концу его во мне остается чувство, словно мы давным-давно путешествуем вместе и до конечного пункта – Ассизи – осталось всего ничего. Иногда, идя по дороге, Франко напевает песенку. Звучит смешно, я и не сдерживаюсь, веселюсь открыто.

– Хочешь в собор Санта-Лючия?

– Конечно, хочу.

– Знаешь ее историю? Лючия – красивая сицилианка, жившая в IV веке, была зарублена мечом. Молодая христианка не хотела отвечать на настойчивое внимание мужчин, которые в итоге хотели сдать девушку в публичный дом. Божественной силой она не могла сдвинуться с места – и, в конце концов, разъяренные солдаты отрубили красавице голову.

– Жуть.

– Не выражайся.

На пути нам встречаются два монаха, которые склоняют головы при виде Франко; мы приходим в храм, там никого нет, кроме падре, который тоже приветствует его с почтением и улыбкой. Мы оба молимся, он снимает с себя верхний хабит и набрасывает мне на плечи. Долго молится обо мне, просит некоторые фразы повторить, что я и делаю, и мы выходим. Пришли на вокзал, где намечена встреча с моими друзьями. Их долго нет, я начинаю нервничать.

– Ты волнуешься, что ли?

– Да.

– А чего ты боишься?

– Ну... что они не придут.

– А ты правда думаешь, что это возможно? Что может случиться?

– Что они не придут.

– Ребята, твои друзья, с которыми ты сюда приехала, – могут уехать без тебя?

– Нет, конечно, нет.

Правда, смешно. Сколько тупой рефлексии в каждом поступке у нас ежедневно?..

Пришли друзья. Мы попрощались с Франко. Вернулись в Чивидале на углу итальянской географической карты, долго спали, а проснувшись, все никак не могли понять – что это было? Сон? Мы вообще куда-нибудь уезжали?

Разве были две тысячи лет между мной и Христом? Разве не стираются эти тысячи каждую весну? Разве святой Франциск не шел мне навстречу в это утро? Или это был Франко? Или все же Христос? На мне было платье и огромный цветок в волосах. Я была похожа на свою товарку тысячелетием раньше. Франко выглядел так, что герои картин Возрождения пошатнулись в прозрачном пространстве своих полотен. Где было время в то утро? Куда утекли его воды? И не они ли струились сквозь пальцы моего друга на «набережной неисцелимых»?

Знала, что буду смотреть на фотографию, сделанную Митей, и думать: «Вот Франко, босоногий друг моего сердца, переживший мою жизнь, размяв ее на «до» и «после», как хлеб за ужином, мой голубь, душа моя. Где ты теперь? Ты светился любовью и светом, и сам ты пронзен мириадами лучиков неба.

Береги тебя и твой путь Господь.

Я тебя никогда не забуду. Как и ты меня, и я знаю, что мы, наверное, встретимся».

Я уверена. Ты, конечно же, сумасшедший. Но ведь вера требует исключительной смелости и бескорыстия. Бесстрашия и одновременно некоторой даже глупости, которая отменяет разумность. Граничит с безумием – и потому, конечно, всякому прагматику вера заслоняет возможности осветления веры логикой, линейностью, последовательностью и так далее.

Вера – это всегда прыжок в пустоту, для сознания – черную и беспросветную. Но только на тот взгляд, которым мы обладаем, проваливаясь в никуда, отягощенные узостью сознания, царапающегося за незримый шифер тех самых логики, линейности и последовательности.

Все, что вокруг этого подлинного бесстрашия и неразумности, около, до них или вместо – по-настоящему все же еще не вера. Это робкий подкат в виде сделок с собой или с Богом, всевозможные алаверды по отношению к душе и к Нему, с условиями, опасениями, заданными сроками, уговорами и мольбами. Все равно это все еще игры на поле, где разгуливают шкоды Логика и Сознание.

Вера – это (в идеале всегда, чаще – в мгновения экстренных переживаний, трагедий, потерь) представить, что прямо сейчас нужно будет зажмуриться, и без разбега (потому что не требует времени на размышленья) нырнуть в эту черную бездну. Просто принять ее и позволить ей принять тебя самого, раз уж ей этого так хочется. Очень страшно и жутко. И непонятно, зачем. Ой, ну надо, так надо!

А потом ощутить, что прыжок был – через узкое темное жерло сознания, за пределами которого ты – свободно парящая частица безбрежного света, что вернулась туда, откуда все пришло и куда все вернутся. Ровного нежного света, который беспрерывно струится из твоего сердца, возвращая любовь и отдавая ее, ибо она бесконечна.

Вертикальная страна

Эмиграция – вероятно, нечто крайне близкое монашеству. В смысле полного избавления от привязанностей – верного спутника буддизма, если дословничать, и христианства, если подумать.

Постригаясь в монахи, хотя бы знаешь, куда придешь, к чему идешь, с кем.

Хотя об испытаниях духа говорить, конечно, не приходится. Их – пробасть.

В эмиграции же человек отдается испытаниям тела, разума и сердца. Ни малейшего представления о месте пребывания, о конечном итоге странствий, о том, что получишь в обмен на шило. Кого повстречаешь, что отдашь. Что твоя сказка «направо пойдешь...»

Стопроцентный поиск себя и своего предела. Абсолюта, стало быть.

Та невыносимая тоска не по дому даже и не по родным – но по себе в доме и себе с ними – плата за драгоценное понимание собственной сути.

Эмиграция – затянувшийся катарсис.

...Вероятно, распределяя народы в алфавитном порядке, Бог рассыпал черногорцев в числе последних, по приближающемуся к завершению европейскому пространству. Страна острым конусом прошла воздух сверху вниз, отчего вышла вертикальной.

Долгой ночью в тошнотворных круговертях горного серпантина приближаешься к высоте в 2 тыс. метров. На рассвете в тумане из по-японски крошечного домика нехотя выбирается – вываливаясь мешком ненужных вещей – пограничник. При виде моего российского паспорта становится ласков – и от ласки – забывчив, отчего прячет мою карту иностранки к себе в карман, вместо того чтобы вложить ее обратно в документ и вернуть мне. Ну, ничего, бери, бери на память и иди досыпать. Потягивается.

По прибытии в Жабляк утро обнимает свежестью и дарит зрению странного вида деревянную избу среди гор. Входишь – о, да нет, это не туман, но черногорские местные, уложив уютно ноги на стол, наполняют несмолкаемым ором окрестности. Дело горское – крики, шум, гам, непробиваемый сигаретный дым, и все это в 8 утра. Скажи я нечто невпопад, и, кажется, тут же – пальба, револьверы, «сдается мне, ты хочешь нас обидеть».

Мой спутник Божжо быстро заказывает по две порции виньяка, дабы, видимо, не вызывать подозрений. Далее – выпытанный у высоченного таксиста адрес ресторана, единственного заведения, где тут можно поесть. В нем измученный регулярными ранними подъемами официант приносит в советских тарелках гуляш: знакомые с детства, плавающие в коричневом соусе широченные макароны. Наши соседи – полицейские, дымящие паровозами прямо под надписями «Курить запрещено». В горах снег, пустота, и Бог смотрит на тебя в упор, без посредников и телескопов.

Тот самый таксист уже обедает и потому просит, чтоб мы воспользовались услугами его приятеля. К нам выходит такой же долговязый герой, копия плохого парня Венсана Касселя: худое острое лицо, объятые четками руки в карманах, элегантный костюм в полоску (так одеваются сельские сицилийские ребята, мечтающие о лучшей доле). Он долго плутает по окрестностям, путая дорогу, смешно растягивая слова при расспросах о нужном доме у жителей. Я интересуюсь, нельзя ли просто посмотреть адрес на карте, – но нет, отвечают, нельзя – улиц в нашей деревне нет, и все, чем мы располагаем, только имя: Коста Новосел, из Никшича. Это к его дому мы едем.

Пока ищем, старики, в приступе интереса выглядывающие из окон, зовут на ракию. Но вот, искомое место найдено: трехэтажный каменный дом и сказочно выглядящие бабушка с дедушкой. В доме, который они сдают в аренду, никого – только беспрерывно болтающие скрипом половицы, печь и шестидесятилетней давности фотография Косты верхом на коне. Полная бутылка виньяка красит дом и обещает потепление – глобальной некуда.

Мы заходим на кофе и виньяк к Косте и Вёсне – так зовут эту пару, в шестидесятый раз встретившую жизнь вместе. Нам неловко от несопоставимых прожитых вместе двух месяцев, а Коста рассказывает, как зимой, в день их с Вёсной свадьбы, пришлось ехать за невестой на конях – так было снежно и холодно. Вот и о нашей свадьбе говоря, мы рассказываем об осуществленном обычае опустошать «калаши» в честь праздника.

Мы отправились в горы. Я беру в руки камни, так конфетно искрящиеся на солнце. Вот уже третий день мы исхаживаем гору Дурмитор в поисках озер, и наши стопы целуют невиданные земли. Первые два озера, найденные недалеко от мельниц – новой и старой, оказываются мертвыми, бесповоротно поросшими глухой травой и елью. Ищем Черное озеро – легенду высотной Черногории, нечто спрятанное на высоте двух километров, обнимаемое горами, взраправду черными. Что дает эту черноту: интенсивность серого оттенка крепких скал, мрачные сосны, собранные вместе?..

Озеро – высокогорный оазис, холодный рай, вечная свежесть, укутанная холмами. За 5 часов обходим его – и ни одного признака людского присутствия, за исключением таблички на стене пещеры: «Здесь товарищ Тито пребывал со своими единомышленниками с... по...»

Возвращаться приятней сквозь россыпь деревень, умело вброшенных в горный ковер. По дороге тут и там взгляд утешают горсти белых камней, будто Бог разбросал их по нежно-зеленой сути ландшафта – приглядишься, это вовсе не камни, но тучки робких овец, подгоняемых чабанами. При спуске виден Жабляк – город, укрытый в ладонях гор, где раскрыта суть покоя и безмятежности, а опыты холода, сменяющиеся зноем, – единственное, что переменчиво в этих краях.

По дороге домой встречаем редких спортсменов – альпинистов, скейтбордистов и прочих – молодых европейцев, улыбающихся так по-детски, несущих в глазах свои мечты о настоящих приключениях и природе. Дом, который нам сдали Коста и Весна, без них пустоват, потому мы частенько захаживаем к старикам в гости. Дедушка и бабушка – иначе их не называем – рассказывают о своей любви, войне и жизни. Трещат дрова в прокопченной, начала прошлого века, печке, мешая слушать. И не знаешь, что предпочесть: теплоту этой речи или печной жар, необходимый в холодных горах. Коста задумчив – вспомнил семью, лихо расстрелянную в период оккупации, Весна же вся ушла в приготовление хлеба. Его нутро не пружинит, как должно было бы, и я знаю, почему. Руки старой черногорки теперь не так сильны и не могут размять тесто по всей окружности хлеба. Но вкусней этого хлеба я не ела.

Бабушка протягивает мне стакан парного молока, а Коста берет меня за руку и уводит смотреть ферму – здесь в огромных чанах он готовит каймак и сыр, а позади, в сарае, коптит и вялит мясо.

Ночь растворяет в своей материнской бездне звезды, уводит в плен не прохлады, а настоящего холода, не оставляя шансов одиночкам. Холод создан для того, чтобы сводить воедино.

Спустя несколько дней проезжаем страну сверху вниз: узкий серпантин открывает виды имений Караджичей, Вука и Радована, городища погостов, церквей, домов, из которых селяне бегут смотреть на проезжающие машины. Мимо проносятся Никшич, Подгорица, Цетинье – и вот мы в самом низу, у подножия гор, наши руки трогают горькое море. Будва приятна старым городом, совершенно гриновскими видами, отсылает к фильму «Человек-амфибия» и мечтам 1960-х. Долгие лабиринты скал, ведущие к тайникам и сокровищницам всех влюбленных, ночью кажутся призрачными и несуществующими. Соседний остров Св. Стефана закрыт, отчего молчит второй год тихим стражем на море, весь из совершенно опустевших каменно-цветочных зданий. Изумрудный город, окруженный рвом.

Далее нежным утром встреченный Котор – полный восторг сознания, тихий отблеск мечтаний, приветы, брошенные памятью прямо из детских, волшебных снов и кинолент. Каменные постройки всех видов и мастей – все сплошь XIV, XV, XVI веков, здесь понимаешь,

что самые прекрасные архитектурные творенья всего мира – это храмы. Не изломанные часто болезненными экспериментами творца, не изуродованные мимолетным течением в искусстве, но созданные по первым проектам древних зодчих, продиктованным чувством веры.

В Которе всюду камень – верный друг времени, слуга памяти, отжим вечно несущей слово реки. Счастье узнаваемо здесь в скалах бухты, прячущей море так, если бы оно было горным озером. Камень в стене дома, к которому прислоняешься в ожидании заката, в воротах, ведущих в сердце города, в горах, исполосовавших Адриатику.

В Цетинье целыми днями дождь, выселяющий горожан с опустевших улиц в бары и на террасы домов знакомых. Семейственность и чувство клана таковы, что кажется, стоит чихнуть в одном конце города, как в другом тебе уже желают здравствовать. Старые раздолбанные авто, часто дружественно советского производства, цыганская яркость пейзажей и домов, щедрость природы на горы и зелень, музыкальность населения – все это похоже на образы Латинской Америки, неизвестно как оказавшейся здесь.

Еще дальше Ловчен – гора, не ниже Дурмитора, откуда видна вся страна – от севера и до юга, увенчанная египетски величавым мавзолеем Ньегоша, при жизни просившего, впрочем, всего лишь капеллу на свою могилу. Стоит взглянуться – и взор столкнется с Албанией.

Белград

Ночь внесла нас из Сербии в Черногорию, ночью же мы снова стираем границы между ними. Поезд «Подгорица – Белград» вынашивает в своем продолговатом чреве добрую сотню спящих, курящих беспрерывно, плачущих, шатающихся просто так. Двери хлопают крыльями уставших птиц, тут и там тревожит сжатая, спружиненная сербская речь, кажущаяся утроенным концентратом русского. Сербский вообще легко представляется мне утисненными мехами гармоника, где углы – согласные, а мягкие впадинки – запрятанные внутрь гласные, которых не видно и в сербском языке не часто встретишь. Русский язык – растянутая в долгом звучании гармонь, сербский – гармоника с плотно прижатыми частями.

Вечер в сидячем ночном поезде открывают неловкие просьбы чуть подвинуться, потесниться, извинения за уже осуществленные попытки оного; утро же встречает полным единением, сплетением и взаимным стремлением незнакомых рук, ног, голов. Это в наши купе уютно ныряют немытые теплые проводницы – с чаем, кофе, пивом и хрусталем (никогда не могла понять, неужели есть кто-то, кто садится в поезд, чтобы купить страшного вида набор из двенадцати приборов или предметов интерьера). Здесь же – практически коробка на колесах, максимально упрощенного вида тоннель, который не ты проезжаешь, но который сам везет тебя, превращая проделанные километры в несколько часов, а время – в пространство.

Слишком холодно. В наушниках поет цыган Экрем (этим именем вполне можно было бы завтракать благодаря гармоничному соединению фонетического эклера с кремом). Дальше звучит финальная тема Эннио Морриконе из фильма «Лолита». И такой же, как в экранизации Эдриана Лайна, старинный округлый автомобиль проезжает по улице, видной из окна поезда. Кто еще гладит зрением это медленное утро со мной?..

Тихими каплями плачет рассвет – и в проскальзывающем пейзаже вагонных окон, и в картинке фильма, набираемой по памяти. Так приходит к гению нанизывание идей – давно существующих, лишь нашедших своего сталкера. Я лежу в промерзшем балканском вагоне, мимо летят дома и деревья, шепча в такт болезненной лирике набоковской истории. Я почти перестаю разделять явь и мысли, вглядываясь в проступающий в стекле тот самый автомобиль «рено», что вместе с трассой так внезапно соединяет ночь и утро. Так что я до сих пор не могу понять, что это было: отзвук города, пойманного на крючок музыки, или обычный утренний европейский пейзаж.

...Свежим утром живет за окном Белград. Невозможно привыкнуть к цыганам, взаправду играющим на углах нежных улиц, во дворах, парках или садах – просто так, для себя. Их шершавые трубные звуки облачают город в гулкие, шумные, дрожащие вибрации. Пара дружных духовых вблизи Калемегдана – и вот, город полнится душевными музыкальными волнами, цветочными, солеными, горькими – такими же, как твои чувства. Ты врываешься в этот город – а иначе войти в него он и не позволит – и мгновенно облачаешься в него, оборачиваешься им, ты и сам теперь он и есть. Перед глазами льется бесконечное кино – из покaдрово проявляющихся видов других городов. Миражами проплывают Триестская площадь Независимости, Университет в Удине, еврейское гетто в Риме, Псковский Кром, мучительно незабываемые одесские улицы и киевские кварталы. В расширенную светом террасу просятся дворы Неаполя, bell'евые мосты из окна в окно, гeнуэзские крыши стонут от солнца в условиях недо-тянувшейся тени садов.

Обнаруживаю собственную неспособность свыкнуться с квартирой, где ночами продают абсент и художники демонстрируют свои новые работы, пока хозяин открывает дверь новым гостям. Эту мебель в его доме мы уже видели – в фильмах о довоенной Югославии или об итальянских 1950-х – привет серебряным нитям неореализма.

У Белграда шелковое нутро, полное россыпью алмазно-звездных ночей; здесь широкие вены Дуная и Савы, встречаясь, задают желание любить. Пробежишь поддаться реке сербской речи, потоком струящейся с утра и до вечера, – выбиваясь из ритма, просто покачиваешься на волнах игрушечно журчащего дивного языка. Кроме него тут и там раздаются грохочущие звуки фанфар, советских маршей и бодрых отсчетов испанской меренги.

Как удивительно, когда славяне выглядят как горцы со средиземноморским типом красоты. Это такая же мечта для бледных русских или белорусов, например, как в случае с японским комплексом маленьких глаз – те просто рисуют странные мультики с героями, у которых глаза занимают ровно половину лица.

У нас для этого есть сербы – обладатели русых волос могут быть здорово загорелыми и хлопать темными, густыми, нездешне томными ресницами. К тому же сербы почти все высокого роста. В общем, они такие же, как мы, только... погорячее, что ли. Отсюда и странный, привлекательный темперамент, и довлатовские рост и мощь в сочетании с детской склонностью к шалостям и гулянкам.

То, что сербы большие любители попеть и поплясать, кажется, известно уже всему миру. Это давно продается, и успешно, как одно из лиц страны, как бренд, как символ гордости. Тот факт, что почти в каждом сербском селении есть свой цыганский оркестрик, говорит об этом. Один из них уже 50 лет подряд занимает первое место на ежегодном сербском музыкальном конкурсе.

То, что цыгане так в Сербии прижились, не удивительно. Ведь сербы и сами такие же сорвиголовы; шумные, беспокойные, то плачущие, то веселящиеся, толстые от частых обильных застолий, столь же обидчивые, сколь и отходчивые. Сербский юмор – как в кино и литературе, так и в жизни – очень естественный, честный, чистый, почти детский. Оттого, кстати, и кажется поначалу, что он груб и недобр. Когда все вокруг относится к самим себе иронически, непременно хочется смеяться над собой; перестать чего-либо стесняться, прекратить осуждать себя и других – это очень ценно и по-настоящему во многом определяет сербов. Такие качества помогают им противостоять многим особенностям их жизни – Сербию всегда хотят к себе перетянуть самые разные государства, придумывая для этого все новые войны, ловки, ходы. Попробуй справиться без юмора.

Сербы – очень дружная, семейная нация. Даже праздники, одни из самых любимых и почитаемых у сербов, – коллективные. Такие, например, как Семейная (Крестная) Слава – своеобразные общесемейные именины или крестины. Само название этого древнего праздника таит в себе нечто незыблемое. История Крестной Славы – это история сербского народа. Здесь каждый, даже далекий от религии и традиций человек позабудет обо всем на свете ради того, чтобы приехать на торжество и поздравить свою семью с этим событием.

Крестная Слава по своему характеру близка к именинам в нашем понимании и в то же время, по сути, нечто иное. Слава – именины в религиозном смысле. Именины, прославляющие святого, в честь которого человека назвали.

Отличие Славы еще и в том, что ее отмечают в тот день (или дни), когда предки родни приняли крещение. И день святого становится днем всей семьи, коллективными именинами. Это день, можно сказать, второго рождения рода, обновления его души.

Такое празднование в полной мере существует только в Сербии и Черногории. В древности, во времена зарождения христианства на территории Сербской земли, мужчины крестились в дни особо почитаемых святых – Михаила, Георгия, Николая. Поэтому и празднование Славы чаще приходится на эти дни – по всей Сербии множество семей отмечают Славу, или, как здесь говорят, «Славят». Это почти общенародный праздник. На Славу принято жарить ягненка, вешать цветочные венки на ворота дома или на дверь квартиры. Слава празднуется повсеместно, в том числе и не особо верующими людьми.

Первыми режиссерами, поставившими музыку к фильму на тот же план, что и сам фильм – на первый, были сербы. Поняли, что музыка может создать буквально из ничего настроение, придумать целую историю, облачить готовую картинку в необходимые тона и цвета. Такое сочетание полноценной музыкальной композиции и картины, пожалуй, даже создало новый жанр в кино – узнаваемый, аутентичный, сербский. Кстати, о фильмах. Основные объекты и ситуации в сербском кино: толстый поп-бородач, осел (можно свинью), цыгане в майках-алкоголичках и пиджаках (одновременно) и с золотыми зубами через один, их женщины в юбках и пиджаках с чужого плеча, война, пальба, цветы, музыка, рыбы, автомобили без дверцы (иногда и без колеса), свадьба, похороны, отец, старый каменный дом.

Основные действия: война идет, все низменно смеются, едят, влюбляются, дерутся, мирятся, рыбы изысканно летают, осел со слезой лежит на рельсах (вариант – свинья ест цветы, реже – гости едят свинью), все все время друг у друга воруют, отец всех бьет, его все любят, свадьба переходит в похороны и наоборот, старый каменный дом разваливается на четыре равные части.

При этом, для сравнения, например, грузинское кино – это: вино, горы, внезапная, настоящая любовь, усы, шляпы, дождь, носы, смех, драки, автомобили (иногда – без дверцы или колеса), еда, свинья, осел, мама, музыка, пальба, примирение, свадьба, похороны, старый каменный дом. Все друг друга нелепо любят, пьют вино, едят еду, дерутся, мирятся, идет свадьба, похороны или дождь, война или драка. Потом все мирятся и опять едят, пьют, любят, хотя за окном красивого старого каменного дома, например, война.

Ну, а итальянское кино, это когда: дорога, город, красота, красивый мужчина, красивая женщина, любовь, мама, поле, солнце, море, мама, Бог, Мадонна, шляпы, снова мама, трость, пистолет, одинокая бедная проститутка, старый каменный дом. Все очень красивые, любят друг друга, дерутся, нелепо шутят (в основном над одинокой бедной проституткой), любят маму, мама плачет, все идут за солнцем в поле, в котором стоит старый каменный дом, увитый плющом.

Балканское, грузинское или итальянское кино – всегда мужское, патриархальное, поэтому в нем много любви, мата, скабрёзностей, простоты, фундаментальности, нарочитости. Как ни крути – и в этом их объединяющая составляющая – все эти балканские, грузинские или итальянские режиссеры – парни с патриархального юга, где мамы мальчиков боготворят их до такой степени, что они до старости остаются смешными мальчиками, которым позволено все, которым надо же как повезло – мало того, что они балканцы/грузины/итальянцы, так еще и мужчины, да еще и художники. Это ж надо, чтоб вот так вот молния в одно темечко трижды ударила! У грузин и итальянцев побольше общего – там чаще урожай и больше солнца, так что больше времени на изыски и искусство. У балканских славян меньше времени на красоту, поскольку их быт чуть потяжелее, поэтому в их фильмах больше разрухи, мужчины чаще небриты, а женщины одеваются так, словно вылезли из мусорного бака, – но при этом аграрно, сельски, по-прежнему хороши. Им некогда гнаться за эстетикой, у них всегда война, а если ее нет, нужно скорее заняться любовью, помолиться или поесть мяса! Некогда им оттащить свинью от колеса машины, помыть дом, причесаться или побриться. Но они все еще знают, что по настоящему важны только главные вещи: любовь, жизнь, мама, Бог. Ну, и АК-47, конечно же.

Грузины и итальянцы ближе к эллинистическому гедонизму, им сразу и чаще видится окружающая ослепительная красота и яркость красок. В сочетании с материнским преклонением перед сыновьями, в особенности перед сыновьями-художниками, режиссерами и т. п., это дает мастерам итальянского или грузинского кинематографа фантастическую, небывалую свободу творить. И тут балканцы к ним присоединяются. Хочешь рыбу на небо? Пожалуйста! Нам можно. Продюсер говорит «Нельзя»? Но мама сказала «Можно!»

Хочешь цветы по воде, а цыганка дает подзад мужу? Хочешь, проститутка – прекрасна и чистосердечна? Хочешь безумные танцы в фонтане с котенком и молоком? Хочешь огром-

ную тухлую рыбу на берегу? Хочешь страх, смерть и смех – одновременно? Страсть, смех, страх, смерть – вот на этом и строится все искусство. И зачем в таком случае говорить о другом или говорить об этом отдельно? Лучше снять фильм обо всем этом сразу – одновременно. Главным в фильмах Федерико Феллини я вижу это непреходящее очарование жизнью, полное, абсолютное ей доверие. Феллини наслаждается собой и жизнью в каждом из фильмов. Делает то, что хочет, и сообщает это счастье любому смотрящему. Хаотичная, абсурдная, нелинейная история у него всегда значительно ядреней всех перипетий любого мудреного арт-хауса, но при этом оказывается всего ближе к реальной жизни – предельно непредсказуемой, непредугадываемой, невероятной. Кто бы знал, что реализм и неореализм станут самыми свободно интерпретируемыми стилями, одновременно сбивающими с толку и являющимися точной копией восхитительно многовариантной жизни. Чем непосредственнее, абсурднее, неожиданней структура его кино, тем ближе оно к самой простой повседневности. Искусство, как всегда, лишь догоняет жизнь. Как величественные статуи Микеланджело демонстрируют совершенство в едином моменте великолепно замершей фигуры, так самая совершенная кинолента показывает только одну возможную линию бытия. Но какой восторг от этих линий. Какая песня в отдельной статуе.

Настоящее кино, наверное, может быть только таким. И искусство, трагедия, античность – все вышли из этих земных впадин географического треугольника: Кавказа, Балканского полуострова, Италии. Где есть солнце, любовь и мамы, дарящие безусловную любовь, там есть с безусловной свободой творцы, художники, современные боги-герои.

Некоторые из них по сей день живут в Белграде.

Где трамваи долгими фалангами разбивают улицы, задавая дрожь в доме за два квартала, будят: не забудь, ты есть, ты существуешь, и это Белград. Нереально привыкнуть к нему, как нет возможности привыкать к своему телу, ибо ты родился в нем, ты уже с ним и тебе предстоит умереть, до конца так и не восприняв его своим, узнанным, разгаданным, не тайным.

Вокруг храма Святого Саввы мальчишки целыми днями велосипедами рассекают пространство. Режут нежную ткань дня долгими узкими шинами. Гладкие плечи, сплошь зацелованные солнцем, – о, эти сладкие приметы лета – так же блестяще округлы, как и совершенной формы велосипедные звонки. То и дело я вижу их яркий внезапный отблеск, как игру глазных белков на Черном континенте. Примерно каждые две минуты повторяется одна и та же ритуальная последовательность: усиливающийся приближеньем ребячий смех, легкий пшик от спора шины с асфальтом, затем точечное попадание солнечного луча в сферическую поверхность звонка – и последующий его отсвет в самую область мозга, руководящего моим зрением.

На углу Ресавской, прямо у Культурного центра, где так странны, если не нелепы, парни в готических костюмах и их аниме-подружки, играет старый цыган-аккордеонист. Остановливаюсь, чтобы немного его послушать, и он, конечно, тут же принимается играть уже только для меня. Улыбается, сверкнув кинематографическим своим золотым зубом, играет бровями, подмигивая, кося хитрыми масляными глазами в сторону уютно поджидающей кепки. Ах, нет, это не кепка, но шайкача – легендарная сербская шапка. Приклеить, что ли, ему купюру на лоб, или как они это делают, но вдруг это ушедший в мифы атавизм – и я обижу цыгана?

Долгим днем исхаживаю тропы города: вот здесь продают плесковицу, тут чевапчичи, там мой друг Милован готовит годящийся вместо нектара виньяк.

Дома ближе к вечеру разгребаю куски гипса и камня – остатки выставки в художественной мастерской под самой крышей. Они так холодны, не обласканы солнцем, так невозможно белы и одиноки, куда там луне-сопернице с ее болезненной мнительностью и страстью сводить с ума. Я беру в руки осколки мрамора, рассыпающуюся на глазах слоистую известь, подношу к губам, демонстрирую терракотовым черепичным крышам напротив – это могли бы быть вы, если бы не каждодневная любовь солнца.

Долго мнусь у двери на периметрическую террасу, с запасом украшенную цветами, бельем и велосипедами, – именно благодаря им завтра снова начнется мальчишечий рай на венозно тонких улицах города. Вот и этот вечер точно такой же – призрачно-тонкий, как барабанная перепонка, уходящий вместе с птицами в непростительную даль, ускользающий невозможным временем, несуществующим песком сквозь пальцы.

Крыши меняют свой цвет, принимая легкие тени на бугристую поверхность, двор внизу уже наполовину сер, теперь он стар, устал и просит покоя. Через плющ, бельевые веревки и старые стремянки, выдавшие больше отставных генералов всех войн, я вижу чернеющий силуэт Божидара, вышедшего развесить для просушки холсты. Коридор из окон, уютно светящихся оранжевым, кажется единственным ярким пятном в полотне затухающего города. Божидар уходит внутрь, вглубь дома и вечера, немой фигурой зазывая и меня, затягивая, как затягивает закатное солнце, чтобы пригласить в новое завтра, другой день, иной мир.

Херцег-Нови

В своем старом доме я натурально чувствую себя принцессой – все окна глядят непосредственно на залив, а конкретно моя комната напоминает сказочные пространства. Я люблю бордовый, алый цвета, дерево, распятия, книги, ковровые сумки – всего этого добра благодаря моим стараниям и прежней атмосфере здесь навалом, и мне хорошо. Поначалу две недели отогревала дом, как ребенка, и в первые дни казалось, что этот камень – застывшие меха времени – ничем не прогреть.

Итак: валы крупных камней в стенах, зеленые ставни, пальмы в окно – разрази меня гром, если здесь нельзя быть счастливой таким хозяйски колониальным счастьем. Женщина никогда больше не бывает настроена так мешански, как в период беременности или переезда.

Соседняя на небольшой костельной площади дверь – доня Беньямина. Дома соответствующей утвари – тьма, а меня хлебом не корми, дай побалдеть в атмосфере братьев-миноритов.

Жизнь идет в самом сердце старого города, у крепости с башней и часами, которые бьют, как и положено, каждые полчаса, в полдень заливаясь небесными переключками. Переключки случаются и с моим самаркандским детством – там, поначалу пробуждаясь в праведном гневе от пятнадцатичасовой молитвы муэдзина, после привыкла спать без тревог. Или наоборот – нарочно просыпалась без пяти пять, ожидая пения. Теперь же утром, в половину седьмого либо сладко сплю, либо жду залиvistых песен колокола с церковной башни.

Поначалу тихонько умирала от вечного запаха копченого мяса кругом.

Теперь обедаюсь оливковым маслом домашним, маслинами – смятыми, солоновато-горькими, смоквой, рыбой, мягкой сметаной, мятыми апельсинками в ведрах, сельскими киви, похожими на мышинные тушки.

Боялась, будет скучно – но нет: здесь ощущение, словно перманентно пребываешь в морском путешествии – из-за близости кораблей и лодок и перемены ветра.

В дождь любой старый город на Адриатике преобразается под Венецию. Смоченные теменью влаги улицы отсылают к капризам и плачам красавиц. Пара домов, столь узко поставленных, что вот-вот стекутся в один маняще унылый запах моря, тускловатые огни в прекрасной кривизне переулков – и все, считай, ты в Венеции.

Шторм среди череды залитых солнцем дней – чудо. Мусорный черный мешок скачет от ветра по террасе, словно в нем кенгуру, а не хлам. Окна трещат, за ними белая пена рвется о камни в море, шум – то ли ветра, то ли воды, то ли магнолиевой листвы.

Адриатикой дышат окна каждое утро, и они шумят ею каждую ночь.

На столе ежедневно тосканские картинки, ну или там – натюрморты Караваджо. Даже разливной этот свет будто выплеснут из деревенского стирального таза, полного солнца.

Запах устриц, хлеба с рыхлым нутром, подкопченного пршута, мимозовый праздник и балкано-февральский карнавал. Из дверей попадаешь сразу на площадку перед костелом, которому, как и нашему дому, – пятый век. Храм неподалеку – с символикой вольных каменщиков и иллюминатским глазом в поднебесье купола.

Утром в блюде из мельхиора, которое мы нашли на чердаке и отполировали до блеска, обнаружили елей – аккурат по периметру доньшка. И как масло могло оказаться там, в метре от прислоненной вертикально и закрытой факельной штуки из арсенала нашего «кюре»?..

Пальмы похожи на афганских овчарок. С потеплением народ запрудил кафаны, змеино повыползав из теней домов (скоро все наиграются демонстрацией себя друг другу и снова вернутся на свои террасы).

Коты выполняют работу ваз, выставленных для натюрмортов: застыв, торчат в узких окошках и на согретых солнцем подоконниках.

Привыкаю оставлять незапертыми двери.

Блаженство: чую весну воздухом, полным птичьих шорохов. В это время года собаки заливаются лаем, обещая теплый вечер, как это свойственно им в деревнях или городах, где площади – величиной с ладонь. Кажется, здесь раньше жили карликовые люди – настолько все маленькое, – а улицы столь узки, что в переулке в дождь двум зонтам не разойтись.

Обедать на террасе, затем пить кофе со сладостями, чередуя все сеансами акрилового рисования на стекле. Зеркала изменяют происхождение – с итальянского на мексиканское – благодаря паре-тройке геометрических орнаментов из красного и синего цветов. Стаканы норовят заплясать в буре обосновавшегося на раскрашенных боках калейдоскопа.

Скорее – застать последние взбрызги солнца, пока оно не спряталось за бухтовые горы, потом можно и к кофе вернуться. Котята на покатых углах черепичной крыши ловят те же ускользящие лучики нежной весенней солнечной звезды. Луна здесь, к слову, повернута арбузным куском, улыбкой – кому Чеширского кота, кому Джоконды – совершенно по-индийски.

Все мурлычет внутри и поет, словно мартовские коты, и это, увы, не аллегория, а самая что ни на есть игра реализма – ибо под нашими окнами усатые скапливаются невиданной толпой и поют развратные свои песни.

Чудо: вдыхать запахи магнолий и гигантских пальм, следить за прыгающими тут и там разнообразными птицами, глядеть в море с одним и тем же рыбаком, торчащим в лазоревой лодке на одном соленом пяточке с утра и до позднего вечера.

Почитываю Бабеля (боснийский рахат-лукум, конечно, вприкуску), радуюсь такому скучному в этой сытости миру и городу.

Европейские мужчины похожи на небритых детей: те же всклокоченные волосы – результат нарочито небрежных причесок, мятые, сползшие штаны на размер больше (на вырост? чего?), любопытно-наивный вид. Пока это касается только Западной Европы – здесь же по-прежнему царствует стиль, укрепившийся в конце XIX – начале XX веков. Шляпы, зонты уколами, жилеты и даже часы на цепочках. Но это – все же у более зреловозрастных местных. Молодые местные все больше соотносят себя, что понятно, с Европой, которой, конечно же, и являются. Просто Балканы всегда были, как бы так выразиться, оазисом несколько чуждой культуры внутри Европы, пусть и являлись территориально ее частью. И европейская парадигма совершенно особенная. И как бы мы ни отождествляли себя с ней, мы гораздо ближе к Азии, чем, во-первых, мы думаем и, во-вторых, чем к Европе.

Сколько бы ни велось речей об интеграциях, миграциях и ассимиляции, европеец еще долго будет оставаться европейцем. Не космополитом, человеком всеобщего синтеза и смешения, а европейцем. С макушки, гелевой и модной, до пят – в мягких кожаных кедах или замшевых тапочках.

Моя московская приятельница познакомилась с парижанином. Завязался роман (а может ли он с ними не завязываться). Переписывались, перезванивались, чатились в «Скайпе», виделись, обнимались, встречались. В один из праздников приятельница решила сделать возлюбленному парижанину сюрприз – прилетела в Париж. В аэропорту по прилету сообщила радостную новость.

Радостной она осталась лишь для нее. Потому что парижский любимый просто ее не понял. У него свои планы, он составляет их за пару недель, то есть, к примеру, заказывает столик с друзьями в кафе, заранее встречается с ними, скидываясь вкладчину. Берет машину определенной марки на уик-энд или бронирует билеты на поезд в Руан, Гавр и пр. В конце концов, собирается идти накануне на поздний сеанс кино со своей мамой, так что наутро планирует как следует отоспаться. И вдруг – Москва. В Париже. Пока он запланированно спал, деньги за бронь утекали с карты и агент подгонял машину к воротам его кондоминиума.

Как это так? Дело не в том, какой негодяй парижанин или как неразумна москвичка. Дело в этой выемке понимания, почему один поступает так, а другой иначе. Если парижанин

не запланирует выходные для отдыха, а рабочие дни для работы, работу он потеряет. Ему нечем будет выплатить кредит за дом, его выселят в рабочий пригород, где алжирский сосед посадит его на травку. И если алжирца, условно говоря, поймав, полиция депортирует, то парижанин останется на Родине, но за решеткой. И все из-за какой-то полоумной москвички!

Европеец всегда будет таким. Ну, или еще поколений десять. Потому что пока жива его система ценностей, выстраиваемая Европой веками, будет жив его европейский характер. С неистребимостью важности частной жизни и частной собственности. С четким регламентом в области быта, работы и развлечений. Если вы позовете его в кино в середине недели или рабочего дня, он сойдет с ума. (Впрочем, и тут все останется под контролем – система здравоохранения поставит его на учет и возьмет на лечение в клинику на пару недель). А пока все его собственное безумие заканчивается разноцветными отдельными пальчиками на носках. Веселой травкой стоящей прически. Нарочито небрежно повязанным шарфиком. Вы не думайте – с шарфом это он специально. Шарф стоимостью в пару сотен просто не может быть по-настоящему небрежно наброшен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.